

С.Н.БУЛГАКОВ



Интеллигенция
И РЕЛИГИЯ

С.Н.Булгаков

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕЛИГИЯ

О противоречивости современного
безрелигиозного мировоззрения

Санкт-Петербург 2000.

Перепечатано из издания:

ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ.

С приложением статьи: С.Н.БУЛГАКОВА:
"О противоречивости современного
безрелигиозного мировоззрения".

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "ПОЛЬЗА"

МОСКВА.

Типо-литография "Русского Товарищества печатного и издательского дела"

Чистые пруды, Мыльников пер., собств. дом.

1909.

Редакция «Народного Университета» обратилась ко мне с приглашением написать очерк, в котором бы разъяснялась вся важность религиозного углубления для нашего времени и для нашего общества и тем самым доказывалась бы вся серьезность вопросов, трактуемых в настоящем руководстве. Мне уже приходилось недавно (в 1907 году) пред обширной аудиторией, состоявшей из учащейся молодежи, в меру сил, умения, жизненного опыта доказывать необходимость этого религиозного углубления, и теперь я могу только повторить сказанное тогда¹. Некоторым из моих читателей, может быть, не безызвестен и по моим прежним научным и литературным работам пережитый мною самим духовный перелом, в результате которого от атеистического мировоззрения, опиравшегося на известные научные и философские посылки, проверяя их умом и сердцем, наукой и жизнью, отступая шаг за шагом, я возвратился сознательно к вере детских дней, вере в распятого Бога и Его Евангелие, как к полной, высочайшей и глубочайшей истине о человеке и его жизни. Способ усвоения евангельского учения и путь к нему исторически и индивидуально может быть чрезвычайно различен: сынам нашего века приходится преодолеть особенно много препятствий, умственных и нравственных, для того, чтобы усвоить себе то, что открывается детскому или простому, но чистому сердцу даром и, может быть, полнее и чище, чем нам. Христианство не есть религия одних ученых или философов, или только женщин, детей и невежественной черни, как думает полубразованная толпа нашего времени, его всечеловечность и всенародность открывается больше всего в том, что оно

¹ «Интеллигенция и религия» Русская Мысль, 1908, III, есть и в отдельном издании.

доступно в меру веры, личного подвига и сердечного устремления одинаково и глубочайшему философу и ребенку, Августину и пастуху, Канту или Гладстону и русскому крестьянину. Под корой внешнего человека, внешней деятельности и суеты каждый хранит частицу свой детскости, изначальной божественной чистоты, о которой плачет чеховская героиня в последней его пьесе («О, мое детство, о, чистота моя!»). И это чувство глубже и потому могущественнее всех эмпирических и исторических различий, ибо создается из мистических корней души. Как переживание, оно дано в религиозном опыте каждого, кто ему не чужд, и тому не нужно об этом рассказывать. Но в то же время, благодаря отсутствию религиозной жизни, для нашей интеллигенции это кажется столь чуждым, непонятным, отвлеченным. Может быть, понятнее здесь окажется могучее слово и признание поэта, притом типичного поэта-интеллигента, с больной, разъеденной жизненными противоречиями душой, родного нашего Некрасова, коего 30-летнюю тризну мы праздновали на днях. Не всем, может быть, памятны эти дивные строки. Поэт описывает свое возвращение на родину и родные впечатления. Я узнаю — пишет он:

*Суровость рек, всегда готовых
С грозой выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревушек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм Божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья.
И шепчет голос неземной:
«Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,*

*Как ни красна чужая даль
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слышали
Ни римский Петр, ни Кализей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неутолимой
Святое бремя приносил
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной»...
Я внял... Я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!*

Вот слияние интеллигенции с народом, полнее и глубже которого нет. Но многие ли из интеллигентов, читателей и почитателей Некрасова, склонялись пред «этим скудным алтарем», соединяясь с народом в его вере и его молитве? Нет, немногие. Скажу прямо: единицы. Масса же, почти вся наша интеллигенция отвернулась от простонародной «мужицкой» веры, и духовное отчуждение создалось между нею и народом. Мне вспоминается по этому поводу одна случайная картинка из жизни второй Государственной Думы. В один из весенних солнечных дней, когда во время думского заседания депутаты и журналисты прогуливались в Тав-

рическом саду, мое внимание привлекла собравшаяся группа нарядной петербургской публики из депутатов и газетных сотрудников, к чему-то прислушивавшаяся и время от времени покатывавшаяся от смеху: в середине толпы оказался забредший туда Волынский крестьянин, старик, с чудным и скорбным лицом, с характерной головой, с которой можно было лепить статую апостола или писать икону. Прислушавшись, я понял, что старик рассказывает про какое-то бывшее ему виденье, в котором Бог послал его возвестить народным представителям Свою волю. Речь его была сумбурна, но всякий раз, когда он возвращался к своей миссии и говорил о Боге, слова его покрывались дружным смехом, а он кротко и терпеливо, скорбя о смеющихся господах, снова начинал свою повесть. Мне было невыразимо грустно и больно наблюдать эту сцену, в которой так ярко отразилась духовная трагедия новой России, и я с горечью отошел и лишь издали долго видел благородную голову старика, старавшегося что-то разъяснить и убедить смеющуюся толпу любопытных. Впрочем, может быть, я и не вполне точно воспроизвожу эту сцену, но так я ее тогда воспринял. «Не строим ли мы Вавилонскую башню», тихо сказал мне бывший здесь же католический священник-депутат.

Я не обманываю себя и теперь, и тоже чувствую себя отчасти в положении думского старика. Всякому, кто в наши дни перед русской интеллигенцией рискует говорить не о текущих, главным образом, политических делах, а об общих целях жизни и религиозном смысле ее, и кто, подобно мне, видит его только в христианской религии, тому приходится заранее иметь против себя безличного, но могущественного и в высшей степени реального противника в духе времени. Атмосфера безрелигиозности вообще отличает новое время, особенно конец XVIII и XIX в. Отличительные черты нашей эпохи в этом отношении с неподражаемой силой и сжатостью переданы нашим поэтом-философом Тютчевым в стихотворении «Наш век».

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет век с молитвой и слезой
Как ни скорбит перед закрытой дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»*

Конечно, при общей характеристике эпохи нельзя не делать различия между разными странами европейской культуры, нельзя не отметить, напр., религиозности англосаксонской расы, которая сохранилась и до наших дней, при чем она перенесена англосаксонами и за океан, и в Новую Зеландию, и в Соединенные Штаты.

Самое замечательное в этой англосаксонской религиозности это то, что она не является только простонародной, каково по преимуществу наше русское благочестие, и не рассматривается английской интеллигенцией, как «религиозные предрассудки». Проф. Шульце-Гевеверниц говорит в своем новейшем труде, что «религия и до сих пор есть нерв англосаксонской культуры». «Внешние факты, — продолжает немецкий экономист, — подтверждают это континентальному туристу на каждом шагу. До сих пор воскресенье кладет еще свою печать на всю страну. Наряду с духовенством всюду выступают светские проповедники: врачи, юристы, вожаки рабочих не только в закрытых молельнях, но и по преимуществу на открытом воздухе, напр., в парках больших городов, в которых в качестве кафедр употребляются экипажи или тумбы. Здесь едет по стране миссионерский вагон, покрытый изречениями из Библии и дающий

приют странствующим проповедникам, там сестры милосердия проникают в винные лавки и берлоги преступников, являясь носильницами «агрессивного христианства». Мостовые кишат солдатами «армии спасения» и т.д. и т.п. Руководящие умы нации, ее духовные вожди, разделяют в большей или меньшей степени эту национальную религиозность. Знаменитые государственные деятели Англии Дизраэли (лорд Биконсфильд) и Гладстон были ревностными христианами и ежедневными читателями Библии. Гладстон, перу которого принадлежит сочинение «Незыблемая скала Священного Писания», как известно, любил выступать проповедником в Гавардене, и вообще высказывал такое убеждение (в письмах к жене): «я убежден, что благополучие человечества теперь не зависит от политики, действительная борьба ведется в области мысли, в которой происходит убийственная атака против величайшего сокровища человечества, веры в Бога и Евангелие Христа». И недавний премьер Англии Артур Бальфур тоже написал книгу в защиту христианского учения под заглавием «Основы веры». Мне достаточно только напомнить далее имена Рескина и Карлейля, у которых нельзя ничего понять, не принимая во внимание их исключительной религиозности, так называемых христианских социалистов: Кингсли, Людлоу, Мориса и др., вплоть до теперешнего лондонского епископа Ингрэма и т.д. и т.д. Конечно, нельзя сказать, чтобы и Англия осталась чужда тому разрушительному движению, которое появилось в новое время. В кузнице английской мысли и науки были выкованы едва ли не злейшие и не сильнейшие аргументы против религии. Гобб и Юм, Бентам и по-своему понятый Дарвин и Бэкон вместе с другими мыслителями оказали свое влияние, но, может быть, в большей степени на континент, нежели у себя дома. Тем не менее, и в Англии тот дух времени, о котором я сказал, начинает чувствоваться все сильнее, но еще сильнее проявился он на европейском континенте, особенно в некоторых странах и в

отдельные эпохи, напр., во Франции во время великой французской революции, да в значительной степени и теперь в протестантской части Германии и т.д. Но все же можно сказать, что ни в одной стране в Европе интеллигенция не знает такого повального массового индифферентизма к религии, как наша. В истории русской мысли сыздавна обозначились и борются до сих пор два течения: одно насчитывает на своей стороне немногих представителей (разумею, среди интеллигенции), но зато в этом числе цвет нашего национального ума и гения, предмет нашей национальной славы и гордости. Это те, которые остались духовно с народом в его мужицкой церкви, и во всяком случае не отделялись от него в его верованиях в живого Бога. В числе этих немногих мы считаем: Жуковского, Пушкина, Тютчева, в известном смысле Лермонтова, Гоголя, Хомякова, Киреевского, Чаадаева, Аксаковых, В. Соловьева, Достоевского, Пирогова, А. Толстого и Льва Толстого, насколько он вообще стоит на религиозной почве.

Противорелигиозное идейное течение, считающее в своих рядах большинство прогрессивных публицистов и общественных деятелей от Белинского до наших дней, усвоило себе рационалистически-атеистическое мировоззрение, которое широкой волной разлилось и составляет господствующую веру русской интеллигенции. Я не обмолвился: это неверие есть действительно вера, вера в научность, в рационализм, в неверие. Масса нашей интеллигенции с необыкновенной легкостью в самый ранний период развития ума, в отроческий или юношеский возраст принимает догматику атеизма, усвоив ей предикат научности. Не раз замечено, что предубеждение больше удалено от истины, чем полное незнание. Относительно религии у нас существует наследственный предубеждение, что здесь нет даже вопроса, ибо наука и философия исключают религию. Подобное мнение может объясняться только полным незнакомством с научной и философской работой, которая кипела и кипит до настоящего дня по вопро-

сам истории и философии религии, ее догмы, культа с нескончаемыми и по существу, понятно, безконечными спорами об этих вопросах. Повторяю, наше русское неверие обычно остается на уровне слепой, наивной веры. Эту особенность русского духовного развития, имеющую свои исторические и бытовые причины, с обычной своей пронизательностью указал Достоевский, сделавший русский, да и мировой атеизм как бы своей специальностью. Достоевский влагает в уста князю Мышкину (в «Идиоте») следующую его характеристику: «атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль» и, прибавляет Достоевский, происходит это «не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств, а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу».

Много раз задумываясь над двоящимся и доселе неразгаданным и неопределившимся обликом русской интеллигенции, я обращался мыслью к этому тезису о религиозной ее тоске, о жажде крепкого берега, праведной жизни, нового неба и новой земли. И если нельзя было иногда не усомниться в правильности этой характеристики, то нельзя от нее и отказаться. И во второй Государственной Думе, в раскаленной атмосфере политических страстей, прислушиваясь и присматриваясь вокруг себя и силясь разгадать подлинную природу русской интеллигенции, иногда я ясно видел, как, в сущности, далеко от политики в собственном смысле, т.е. повседневной прозаической работы починки и смазки государственного механизма, отстоят эти люди. Это психология не политиков, расчетливых реалистов и постепенцев, это нетерпеливая экзальтированность людей, ждущих осуществления Царствия Божия на земле, Нового Иерусалима чуть ли не завтра. Невольно вспоминаются анабаптисты и многие другие коммунистические сектанты средневе-

ковья, апокалиптики и хилиасты, ждавшие скорого наступления тысячелетнего царства Христова и расчищавшие для него дорогу мечом, народным восстанием, коммунистическими экспериментами, крестьянскими войнами, вспоминается Иоанн Лейденский со свитой пророков и остальных осажденных в Мюнстере... Конечно, сходство это касается лишь психологии, а не идей. В области же идейной, хорошо это или плохо, счастье или несчастье для нас, но Россия отражает идеи и настроения века решительнее и прямолинейнее, чем даже Запад, отражает на себе и ту мировую духовную драму богоборчества и богоотступления, составляющую нерв новой истории, перед чем бледнеют и отступают на задний план все великие политические и социальные интересы, вздымающие волны и рябь на груди исторического моря.

В чем же тут борьба и почему это драма? Духовная борьба, составляющая основную тему и основное содержание новой истории, начиная с ренессанса и особенно явственно с XVIII века, определяется усилиями культурного человечества «устроиться без Бога навсегда и окончательно», как выразился Достоевский, или «умертвить Бога», как еще смелее выразился один из яростнейших богоубийц Ницше, свети жизнь исключительно к имманентному без всякой связи с трансцендентным, выражаясь языком философии, лишить землю неба, не коперниковского, холодного, астрономического неба, но Моисеева, библейского или хотя бы даже Кантовского неба, престола Божия. В мыслях, в чувствах, в интимной жизни, во внешнем ее устроении, в науке, в философии идет эта борьба, столь ясно предуказанная в Евангелии и Апокалипсисе, и величайшие усилия употребляются, употреблялись и будут употребляться как для того, чтобы подорвать, так и чтобы оправдать права религиозной веры. В этом смысле наша историческая эпоха не имеет равной в истории, ибо всегда были отдельные антирелигиозные течения и явления религиозного упадка, но

не было такого сознательного и убежденного, такого фанатического и непримиримого стремления свести человека на землю и опустошить небо. Если бы нужно было выразить духовную сущность нашей эпохи в художественном образе, в картине или трагической мистерии, то эту картину или мистерию следовало бы назвать: «Похороны Бога», или самоубийство человека. И в этих образах следовало бы со всей силой и наглядностью показать, на что покушается человечество, и что оно над собой делает, что теряет каждый из нас, во что он превращается. Как бы ни размещались фигуры на этом фантастическом полотне, но одно несомненно, что общее содержание его не идиллия или пастораль, в которой в конце концов все препятствия преодолеваются, и дело кончается веселой свадьбой жениха-человечества с невестой-государством или обществом будущего, но серьезная, мучительная трагедия.

Почему же это такая трагедия, почему эти похороны Бога неизбежно обращаются в похороны самих похоронщиков? Да потому, что, хороня Бога в своем сознании, они вынуждаются хоронить и божественное в своей душе, а божественное есть действительная, реальная природа человеческой души. Можно думать о себе как угодно, считать себя человеком, обезьяной, рефлексом экономических отношений, автоматической машиной, куском материи, в силу механической необходимости одаренной сознанием — все это высказывается и высказывалось о человеке, — но от этих мнений он не перестает быть тем, что он есть, чем сделали его «руки, сотворившие и создавшие его» и наделившие его запросами и свойствами высшей духовной природы. Можно убеждать человека голодного, что он сыт, и даже настолько оглушить логикой аргументов, что он сочтет себя обязанным постараться этому поверить, но он будет мучиться голодом, испытывать беспокойство; можно уверять себя и других, что дикие рожки, которыми питался блудный сын на чужбине, не хуже, а лучше тельца, уготованного для него у

отца, но и это не успокоит, не даст мира душе, не примирит ее ни с собой, ни с жизнью. Ибо «*tu nos fecisti ad te, cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te*»², как восклицает в своей «Исповеди» блаженный Августин. Человек рожден для вечности и слышит в себе голос вечности, он слышит его тонким ухом своих величайших мыслителей, ученых и поэтов, своих чистых сердцем праведников, творческим гением своих художников. Жить во времени для вечности, переживать в относительном абсолютное и стремиться дальше всякой данности, дальше всякого данного содержания сознания, к этому призван человек, и это стремление есть живое богооткровение в нас. Сам для себя человек потому и не может стать абсолютным, самодовлеющим, что он никогда не удовлетворится собой, своим данным состоянием, если только не ниспадет в низменную животность и не уподобится в действительности неосмысленной твари. Но вместе с тем человек сознает в себе эту силу и эту волю вмещать абсолютное содержание, расти и расширяться, становясь живым образом абсолютного, образом и подобием Божиим. Эта незаглушимая жажда высшего содержания жизни рождала и рождает религиозную веру. «Многое на земле от нас скрыто (говорит Зосима у Достоевского), но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой нашей связи с миром иным, с миром горним и высшим, и корни наших мыслей и чувств не здесь, но в мирах иных. Бог взял семена из миров иных и посеял здесь на земле и взрастил сад свой, но возвращенное живо и живет лишь чувствами соприкосновения своего таинственным миром иным; если ослабевают или уничтожаются в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен, возненавидишь ее». Так Люцифер у Байрона, обогатив Каина множественностью ненужных ему и мертвых знаний, но тонкой клеветой

² «Ты создал нас для Себя, сердце наше остается беспокойным, пока не упокоится в Тебе».

отвратив его от прежней веры, приводит его лишь к сознанию, что он — ничто. И подтверждает:

*И это будет разум
Всех знаний человеческих, — предел
Всей мудрости, доступной вам:
Что вы ничто с своей природой смертной.
Ты завещаи науку эту детям.*

Сестра — жена его Ада говорит ему, когда слышит от него суждение Люцифера: «нам Егова не говорит так». Нашей эпохе свойственна чрезвычайно высокая оценка своих умственных завоеваний, многим из наших современников представляется, что настоящая жизнь человечества начинается только теперь, а вся предыдущая история есть пролог или тьма дикости и варварства. Этот своеобразный исторический каннибализм, как выразился когда-то Герцен, в наших глазах совсем не имеет оснований. Про наше время нельзя не повторить диалога Люцифера с Каином, когда последний спрашивает Люцифера: — Вы счастливы? — Нет, мы могучи. — Вы счастливы? — Нет. И наш век более могуч, чем счастлив. Представляя беспримерное богатство во благах внешней, преимущественно материальной, но также и духовной культуры, в самом существенном, — в душевной силе, свежести и вере, не богаче, но беднее предыдущих, и эта бедность рельефно выступает именно на фоне этого оглушительного прогресса.

Упразднив религию Бога, человечество старается изобрести новую религию, причем ищет божеств для нее в себе и кругом себя, внутри и вне; пробуются поочередно: религия разума (культ разума во время великой французской революции), религия человечества Конта и Фейербаха, религия социализма, религия чистой человечности, религия сверхчеловека в новое время с перспективой религии сверхчеловека и т.д. В душе человечества, теряющего Бога, должна непременно образоваться страшная пустота, ибо оно может при-

нять ту или иную доктрину, но не может заглушить в себе голоса вечности, жажду абсолютного содержания жизни. И, погасив солнце, оно стремится удержать свет и тепло, делает судорожные усилия к тому, что бы спасти и удержать божественное и заполнить пустоту новыми богами, но зыбкая почва проваливается под ногами, и духовная атмосфера становится все напряженнее и тяжелее. В высшей степени трогательна эта борьба человечества за духовное свое существование и мучительные усилия искать твердую почву то там, то здесь.

В деяниях апостольских есть приснопамятный рассказ о проповеди ап. Павла в Афинах, этом Париже древнего мира, средоточия наук и искусств, философов, ученых и художников. Этот город был полон идолов, как и наша культура, так что и великий апостол «возмутился духом» при виде их; однако, он усмотрел среди этих алтарей жертвенник с надписью «неведомому Богу», который и послужил внешней темой его проповеди. Следует искать по примеру апостола, такого жертвенника и в современных Афинах, и, конечно, можно найти его и здесь и под покровом отрицательных слов и разрушительных идей усмотреть тлеющую искру веры и благочестивый жертвенник. Если спросить себя, чем живет современный человек, во что он уверовал вместо Бога, ну хотя если спросить среднего русского студента или взрослого гимназиста из «сознательных», то, конечно, он тотчас ответит: хочу приносить пользу человечеству, затем, подумав, прибавит: выработать себе научное мировоззрение. Вера в прогресс, в науку, в возможность разрешить все жизненные противоречия в историческом развитии науки и человечества составляет несложный катехизис современного человека. Это — общее, а затем начинаются частности, различия, выражаемые обыкновенно буквами латинского алфавита в известных парных сочетаниях. В основу его положен догмат веры в разум, всеислие науки. Однако совместима ли эта вера в разум с общим учением о человеке, как двуногом

животном, которое в силу случайности, игры материальных атомов и борьбы за существование достигло теперешнего состояния, а в будущем имеет достигнуть еще большего? Откуда у этого «ощипанного петуха», как определил человека философский нигилист-циник Диоген, берется разум и наука, и на чем опирается такая вера в них? Что есть истина, которую хочет познавать наука?

Этот Пилатовский вопрос, обращенный к Тому, Кто сказал о Себе: «Я путь, истина и жизнь», к самому Божественному Логосу, звучит на всю историю человечества и не находит ответа иначе, как в связи с религиозной верой. Как возможна наука и знание законов мира? Вот вопрос, поставленный человечеству критической философией в лице Канта. Как и почему комочек материи, хотя и известным образом организованный, может познавать вселенную, воспроизводя ее в себе идеально? Что это за таинственная сила идеальной репродукции? Иногда отмахиваются от этих вопросов ссылкой на завоевания науки: да разве современная техника не свидетельствует о силе ума и знания!

Но отвечать так — значит неизвестное подтверждать неизвестным, только отодвигать проблему, и не требует ли в таком случае уже самый этот факт объяснения? Орган познания — головной мозг с нервной системой и функция познания настолько несоизмеримы и несоответственны между собой, что говорить о познании мозгом и нервами мира и его законов значит впадать не только в мистическую, но прямо мифологическую бессмыслицу или же утверждать громовое чудо, которого вообще не допускают представители новейшей науки. Одно из двух: или человек действительно есть такое ничтожество, ком грязи, каким его изображает материалистическая философия, но тогда непонятны эти притязания на разум, науку; или же человек есть богоподобное существо, сын вечности, носитель божественного духа, и возможность всякого и в том числе и научного познания объясняется именно этой природой человека. Другими сло-

вами, это значит, что достоинство науки и ее права не ограничиваются, а только утверждаются религиозным учением о человеке, а вместе с устранением последнего подрывается и первое. Наука принципиально опирается на религию, а не противоречит ей, как это странным образом сложилось в современных представлениях. Рассматривая же разум и науку, как продукт и орудие борьбы за существование, при свете своеобразного понятого дарвинизма, мы должны окончательно развенчать их. Если сила и значение научной истины только в полезности, как говорят дарвинисты в биологии, а в новое время и в гносеологии, то откуда взяли, что истина всегда полезна и что не полезнее иногда, а может быть и всегда, заблуждение? Это сомнение, высказанное Ницше и повторенное в некоторых сочинениях по теории познания, нечем обезсилить. «Нет ничего более нездорового, чем мышление», — вырвалось у О. Уайльда; вслед за греческими софистами он вместе с другими модернистами считает возможным «все доказывать», ничего не считая истиной, подсмеиваясь над тяжеловесным благочестивым отношением к науке. Науке приставляют к горлу нож, ею же отточенный, надвигается кризис научного и философского сознания, сходный с кризисом, пережитым античным миром, и не придется ли еще науке искать опоры у гонимой ею теперь религии? Назревающий кризис науки, софистико-пилатовский скептицизм, быть может, яснее установит действительное отношение между религией и наукой, которое сознавалось и всегда великими учеными и мыслителями, но не понималось полунатурой. Наука сама основывается на вере в разум, в единство разумного начала в микрокосме и макрокосме, на религиозном и благочестивом признании ценности истины и любви к ней.

В новое время часто раздаются голоса о кризисе и даже о банкротстве науки, причем иногда эти утверждения выставляются в защиту веры. Я в одинаковой степени и для научного деятеля, и для религиозного философа считаю эти сето-

вания немотивированными и вижу в них род недоразумения. Наука жива и здорова, и, конечно, будет жить и здравствовать. Под кризисом науки разумеется обыкновенно утрата ею совершенно не принадлежащей ей компетенции, тех универсалистических притязаний, которые ей приписываются лишь теми, кто хотел религиозную веру заменить наукой. Задачи и значение науки вполне относительны и ограничены: она имеет дело с определенным (логически или философски) кругом проблем опытного (в Кантовском смысле) знания, при чем она способна к бесконечному прогрессу по самой своей идее; горизонт постоянно отходит перед нею, новое знание раздвигает шире область незнания, но остров знания по-прежнему окружен морем тайны и вечности, по слову поэта:

*Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами,
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн.
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.*

Таким челном, окруженным «пылающей бездной», несущимся по стихии тайны, чувствует себя строгая наука, и этим чувством питается религиозная вера великих ученых, Перед последними вопросами жизни и смерти, добра и зла, цели мира наука критическая, понимающая себя наука стоит безответно теперь, как будет стоять и всегда.

Заслуживает внимания еще и то обстоятельство, что наука, как конкретное целое, существует лишь в виде со-

вокупности наук, непрерывно разрастающихся научных специальностей. Это машина, составленная из великого множества колес или частей. Целое знание, мировой разум или книга природы открывается человечеству лишь в его истории, и конкретно каждая индивидуальность, как бы велика ни была ее умственная сила, прочитывает в этой книге только страницы или строки. Поэтому предположение, что наука действительно разрешает все вопросы, может быть основано практически только на суммарной вере в силу науки вообще, в научный метод, в научный разум, но эта вера опытной проверки не допускает: проживите вы не одну, а 10 или 100 человеческих жизней, посвящая все свое время только пассивному усвоению того, что наука накопила, и тогда вы не усвоите всего. Следовательно, говорить или думать о постройке целостного научного мировоззрения, из которого вовсе исключена была бы вера, невозможно.

Итак, наука не в состоянии ни заменить, ни упразднить религиозной веры, ни даже не может сама защитить свое существование против набегов безшабашного скептицизма без молчаливого или открытого признания религиозных предпосылок, именно веры в объективный разум.

Сказанным я хотел определить только самые принципиальные и самые существенные отношения науки и религии, как отношения солидарности, соподчиненности. В частности же отдельные учения науки, касающиеся вопросов, то или иное решение которых не безразлично и для религии, конечно, могут входить во временный конфликт с теми или иными религиозными учениями. Развитие науки представляет бесконечное количество таких примеров, хотя оно же представляет и немало примеров разъяснения или устранения этих конфликтов с дальнейшим развитием науки. Работать над выяснением этих вопросов есть уже дело религиозной мысли, которая поэтому вовсе не представляет из себя догматическую и покойную подушку под голо-

вой, но должна находиться в постоянном напряжении, и, очевидно, сколь безостановочно развитие науки, столь же неустанно должна работать и апологическая мысль, оберегая сокровищницу веры. Таковы общие отношения науки и религии.

Но если даже наука со своей тяжелой артиллерией остается беззащитной против ядовитого жала скептицизма, то тем беззащитнее оказываются современные суррогаты религии, в которых роль божества отводится человечеству, и основной догмат которых состоит в учении о прогрессе. Мне лично приходилось уже много говорить и писать на эту тему³, и потому я буду краток. Здесь мы попадаем в целый лабиринт противоречий и трудностей. Их легче вскрыть, если сопоставить с основными чертами христианского учения о человеке. Согласно христианской вере, человеку принадлежит нравственная свобода хотения добра и зла, причем нравственная жизнь и состоит в склонении воли от зла к добру. Этой борьбой и ее подвигом, аскезой, совершается возрождение личности при помощи свыше. Перед человеком стоит абсолютный идеал самосовершенствования: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», и «Бог есть любовь». Христианский подвиг есть потому подвиг любви и непрерывного самоотвержения. Человек не может ни мыслить, ни чувствовать себя в разрыве или отъединении со своим ближним: человечество, спасающееся во Христе и Христом, для него есть живое единство, тела коего он член. Потому любовь к Богу и любовь к ближнему и находятся в христианстве в такой неразрывной связи между собою. Эта задача не превышает того, что доступно возрожденному человеку, ибо он носит образ Божий, печать божественной любви. «Образ есмь неизреченных Твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений», как поется в величе-

³ Ср. сборник статей: «От марксизма к идеализму», далее «Религия человекобожества у Л. Фейсрбаха». 1906 г. Изд. «Свободная Совесть». «К. Маркс, как религиозный тип». 1907 г. Изд. Д. Е. Жуковского и др.

ственных погребальных песнопениях перед лицом открытого гроба и разлагающегося в нем трупа: смерть в силах только временно исказить этот образ, но не может навсегда его уничтожить. Мне приходилось уже отмечать в печати⁴, как близко, хотя и робко, приближается к христианской вере во всеобщее воскресение основная научная идея нашего века эволюции и прогресса, но сейчас я не буду на этом останавливаться. Укажу только, что в качестве разрешения мировой драмы христианством обещается действительное сохранение всех ценностей и восстановление человечества для новой, вечной жизни. Человек, стало быть, здесь не самозванный человеко-бог, но действительно обоженная тварь, бог по благодати. Можно ли больше возвеличить человека? Недаром в обряде православного богослужения введено каждение не только иконам, но и молящимся, которые приравниваются иконам. И действительно, если человек почтен образом Божиим, как бы ни искажал он его в себе, разве он не есть живая икона, живой образ?

Современное мировоззрение отвергло всю религиозную основу этого учения, вытравило везде божественную веру, но удержало те его стороны, которые непосредственно относятся к человеку: удержало любовь к ближнему, обозвав ее альтруизмом, веру в божественность человека, произведя его в человеко-бога, веру в спасение человечества, настаивая на учении о прогрессе. Удалены, казалось бы, лишь религиозные суеверия, осталось же все существенное, по крайней мере, для современности; особенно ревностно, тщательно и последовательно производил эту операцию Фейербах, имевший огромное, определяющее значение (вместе с Кантом) на мировоззрение широких кругов европейского общества в XIX веке. Но не рухнет ли без фундамента и постройка, не ползет ли почва из-под ног современного человечества, не ускользает ли из рук, как бледный призрак, как дух земли,

⁴ «Воскресение Христа и современное сознание» (в журнале *Век*, 1907 г.). Перепечатано вместе с настоящим очерком в одной брошюре.

явившийся Фаусту, это человечество, когда мы хотим обнять его? Есть много признаков, что это так, и много причин, почему это иначе быть и не может.

Человеку внушается, что он есть высшее в мире, что он автономен, что он прекрасен, что он разумен, самодовлеющ, что он бог, если не в единичности и обособленности своей, то в своем целом, вместе с другими. Но Богу свойственна жизнь, а этот бог есть разлагающийся труп, дни его и годы есть постепенное умирание, приближение к могиле, в которой, как известно, «и гения череп наследье червей». Когда Платон схоронил своего Сократа, божественного мужа, бывшего для него светом жизни, каким кладбищем стал для него этот мир, и не становится ли он таким кладбищем для каждого из нас раньше или позже. Теперь, когда столько жизней отдается ради верно или неверно понятых идей, не становится ли это противоречие особенно жгучим, мучительным! Можно ведь силой закаленной воли подавлять в себе эти чувства или привычкой дисциплины оставаться в строю, когда падают кругом близкие и дорогие, но пересилить боль напряжением воли, стиснув челюсти, не значит победить ее. Смерть вносит такой диссонанс в мир, который не может не слышать и глухой; отсюда и постоянная борьба со страхом смерти то Мечниковской прививкой, то слабыми утешениями а la Фейербах, — потому и проповедь христианской веры и радости есть прежде всего благая весть о воскресении и вечной жизни.

Итак, смертен Бог в отдельности, смертен и в целом, поколение за поколением неспешной чередой тянутся в могилу, оставляя все дела и все заботы. И нас хотят уверить, что служение этим делам и этим заботам само ради себя способно не только наполнить, но и осмыслить жизнь. Эта религия человечества есть какая-то кладбищенская философия; неудивительно, что она все больше теряет кредит, уступая место культу гордого, обособленного я, в свою очередь раскальвающегося на отдельные переживания, и, в конце концов, культу этих переживаний! Зачем мне искать какого-то кумира вне

себя в другом, в таком же, как я, или хуже меня, вообще в толпе, во многих (Viel zu Viele), когда я сам себе довлею и сам себе могу поклоняться, когда я «единственный» (der Einzige)? Зачем святыня, зачем добро и зло, когда можно стать и выше — точнее, вне этого развития. Оставим мораль попам и филистерам, перестанем быть колпаками, станем свободными личностями. Независимый живет в свободе абсолютной пустоты, повелительного своеволия момента. Почему обязательна и последовательность, зачем даже внутреннее единство личности, логика настроений, когда ведь есть только отдельные, разорванные переживания! Умей проложить себе дорогу, умей устроиться, и горе погибающим! Этот декаданс личности, чухотка современной эпохи лучше всего отражается в беллетристике и популярно-философской литературе.

Нигилистический индивидуализм, к которому приводит паша культура, подобно античной, составляет самое серьезное явление духовной жизни современности. В борьбе с индивидуализмом изощряют все свои усилия и общественники, чтобы как-нибудь сплотить рассыпающееся, атомизирующееся человечество господством сплоченного большинства, анархический индивидуализм обуздать социалистической муштрой. Но какие же орудия для этого сплочения имеются, чем побеждается разлагающий яд индивидуализма?

С того времени, как отвергнута была религиозная санкция морали, Божия заповедь, как нравственная норма, перед сознанием стал вопрос о добре и зле, о морали и о долге, как ее основе. Поскольку философия в лице Канта и его школы делала и делает отчаянные усилия спасти мораль долга, над чем изощряет свою логику в настоящее время и немецкий идеализм, она приходит к религии, как необходимой предпосылке нравственности. В системе Канта практический разум приводит к постулатам бытия Бога и бессмертия души, как к религиозной опоре. Напротив, в тех мировоззрениях, которые лишены всякой религиозной окраски, проблема морали принимает характер совершенно безнадежный: мо-

раль приходит к самоупразднению, отвергая идею долга и заменяя ее идеей интереса, личного или группового, инстинктом звериного самосохранения. Подобно тому как в медицине развитие литературы об известной болезни есть лучшее свидетельство ее распространенности и серьезности, так и кризис морали в новое время, как и в эпоху античного декаданса, вызывает необыкновенное развитие нравственной философии и соответственной литературы: каждый изобретает свою мораль, доказывая ее по-своему. С наибольшей остротой этот кризис выражается в аморализме Ницше, который был предсказан Достоевским в его краткой, но безукоризненной формуле: «если нет бессмертия, то все позволено».

В острой и радикальной, непримиримой форме личное своеволие, полную суверенность каждого я, крайний индивидуализм в 40-х годах защищал Штирнер, позднее к нему приближается и Бакунин, Штирнер разбил альтруистическую идиллию Фейербаха, который, уничтожая христианство, удерживал любовь к ближнему, то желание «приносить пользу», которое, как я упоминал уже, имеется у каждого доброго студента. Штирнер указал, что Фейербах (как и Конт) заимствовал это у того самого христианства, которое уничтожил, называл его «благочестивым попом» и вообще совершенно неоспоримо показал всю непоследовательность Фейербаха, как и настоящих и будущих его сторонников⁵. Но рядом с моралью любви и симпатии, которой не повезло, очень рано выступило учение об интересе, т.е. о личном своекорыстии, как основании поведения, при чем доказывалось, что оно требует и благосостояния других и не останавливается пред жертвами ради него, вплоть даже до жертвы жизнью. Основоположителем утилитарной морали был, как известно, Бентам, и идеи Бентама в осложненном виде имеют большую силу и теперь в марксизме (хотя Маркс и бранит Бентама). Словесно можно

⁵ Этот знаменитый эпизод истории мысли рассказан мною в упомянутом этюде о Фейербахе («Г.Фейербах и религия человечества»).

связывать многое, и пока человечество понимает под личным интересом служение ближнему, значит, оно не растратило еще всего своего христианского наследства; однако, позволительно сомневаться, чтобы будущие поколения, вскормленные молоком личного интереса, оказались в силах переработать его в горячую кровь симпатии к ближнему. Дж. Ст. Милль, один из искреннейших представителей утилитаризма, как известно, рассказывает в своей автобиографии, как он в одно прекрасное утро спросил себя: имеет ли для него действительно такое значение, если бы все человеческое счастье осуществилось в требуемых доктриной размерах, и он имел честность и мужество ответить себе на этот вопрос отрицательно, и тогда у него начался описываемый им душевный кризис, который едва не привел его к самоубийству. Если гуманистический альтруизм Конта и Фейербаха пытается спасти человечество, как целое, как единство, удерживая еще то понятие о нем, которое дает только христианство, то утилитаризм всякого рода раздробляет это тело на атомы, атомизирует человечество. Я и мой интерес, с которым могут не совпадать или совпадать интересы ближних, представляющих лишь средства для меня, вот то острие ножа, на которое поставлена здесь человеческая мораль. Не лучше, когда этот индивидуальный бентамизм заменяется бентамизмом социальным или классовым. В общую алгебраическую формулу делаются лишь частные подстановки. Именно устанавливается, что в известных случаях интерес значительного числа лиц, поставленных в одинаковое положение, оказывается тождественным. Стало быть, преследование группового или классового интереса, пока существует эта общность интересов лиц данной группы, оказывается наиболее рациональным, выгодным и желательным. Человечество рассекается вдоль и поперек на несколько слоев, и сознание общечеловеческого единства, отношение к человеку просто как к личности, а не как к представителю класса и партии, все более утрачивается. Несмотря на многочисленные внешние союзы и соединения, люди становятся все

более и более чужими друг другу. Воцаряется холод взаимного отъединения, того «одиначества», страстный вопль от которого издавал Мопассан, и вопль этот громко раздаётся в литературе и жизни. Ибо на интересе можно разъединить, но нельзя соединить человечество, соединяется же оно только общей верой и общей любовью, сознанием не своего различия, но своего существенного сродства, своего равенства и братства в Боге. Конечно, житейская борьба и несогласия остаются неизбежным спутником нашей жизни, но большое значение имеет то настроение, с которым они переживаются, остается не уничтожимой разница, борются ли братья или прирожденные враги. Между тем атмосфера тяжелого человеконенавистничества, в которой допустимы всякие способы борьбы, налегла на нашу гуманную и гуманистическую эпоху.

Но нас уверяют, что это ненадолго, что близится золотой век не только свободы и равенства, но и братства; на что же опираются эти радужные надежды: на духовный переворот, на возрождение личности, на новую веру? Нет, говорят нам, это произойдет в силу исторической, по преимуществу экономической необходимости. Об этом говорит экономическая наука, это предсказывает социология. Позвольте мне со своей стороны заметить, что наука, оставаясь наукой и обладая присущей ей осторожностью и скромностью, вовсе не предсказывает таких вещей, об этом говорит вера, а не наука. Во-первых, самая способность социальной науки делать предсказания вообще многими, в том числе и мною, не без основания оспаривается, и именно новейшие логические исследования о природе социальной науки (назову Риккерта) как раз приводят к этой оценке; во-вторых же, и это самое главное, если экономическая наука и может еще кой-что предусмотреть о характере экономического строя в ближайшую эпоху, то ведь этим ничего еще не сказано о том, какова будет духовная жизнь этой эпохи, какова будет человеческая личность? Ведь поверить, что экономическая реформа есть необходимо и духовное возрождение, можно только приняв предварительно

такое учение о человеке, по которому он «есть только то, что есть», есть вполне рефлекс экономической обстановки, или есть всецело продукт своего классового положения. Да и при принятии всех этих неприемлемых положений остается еще вопрос, какие именно перемены в психологии, в чувствованиях, в самооценке вызовет перемена экономической обстановки, и будет ли эта перемена именно такова и совершится ли в том направлении, как это представляют себе теперь. Позволительно думать, что человеческая личность, хотя и зависит от еды, экономической обстановки, вообще условий своей материальной жизни, но есть прежде всего то, во что она верит, чем живет, чего хочет, что читит; исходя же из такого понимания, правильнее заключить, что и в новом строе личность может оказаться столь же опустошенной и морально разлагающейся, что и теперь. Потому сколь бы высоко мы ни ставили заботы о материальных нуждах обездоленных классов, нельзя забывать и о духовных нуждах человека. В современном человечестве не только у нас, но и на Западе произошел какой-то выход из себя во вне, упразднение внутреннего человека, преобладание в жизни личности внешних впечатлений и внешних событий главным образом политической и социальной жизни. Отсюда такая потребность суеты, внешних впечатлений. Современный человек стремится жить подобно человеку, никогда не бывающему у себя дома, наедине с собою: сознание заполнено, но достаточно приостановиться этому калейдоскопу внешних впечатлений, и можно видеть, как бедна или пуста его жизнь собственным содержанием. История сохранила нам ослепительной яркости и глубокого значения образ, символизирующий наше теперешнее духовное безвременье, поучающий и предостерегающий. Один из крупнейших представителей раннего гуманизма, носивший уже в себе противоречия нашей теперешней эпохи позднего гуманизма, Петрарка, рассказывает в описании одного из своих путешествий, как он, взойдя на высокую гору, откуда открывался чудный вид, раскрыл на удачу *Исповедь* Августина, которую всегда имел при себе, и

в ней прочел следующие слова: «и вот люди идут и с удивлением смотрят на высокие горы и далекие моря, на бурные потоки и океан и небесные светила, но в это время забывают о самих себе». Петрарка погрузился в глубокое раздумье.

Эпохи упадочные, сопровождающиеся высоким уровнем развития культуры, отличаются вообще господством философии эпикуреизма, наслаждения жизнью в ее утонченных, эстетически облагороженных формах. Этот культ наслаждений разработало античное язычество в эпоху своего упадка, в эту же колею вступает и современное неоязычество. Хотите ли знать, как представляет себе современный человек цель и смысл экономического прогресса, стоившего и стоящего столько жертв стольким поколениям? Вот как рассуждает об этом проф. Зомбарт, блестящий экономист нашего времени. Сделав пренебрежительную характеристику предыдущей эпохи, века Фихте, Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра, Гейне и Гете, как эпохи аскетов и пуристов, не знавших толку в красоте, Зомбарт делает следующий прогноз будущего: «я предвижу, что грядущее поколение после долгих столетий лишений, наконец снова будет вести жизнь, которая будет пропитана красотой и довольством. Явится поколение, которое из полноты богатства, притекающего к нему с расточительностью, создаст целый мир вожделий и красивых форм, поколение людей, для которого наслаждение, радость жизни сделаются само собою разумеющимися спутниками земных странствий, людей с утонченными чувствами, с эстетическим мировоззрением. Это значит, количественно потребность в изящном примет такие формы, о которых мы теперь не можем себе составить и малейшего представления, она возрастет безмерно до таких колоссальностей и великолепия, по сравнению с которыми «роскошь» императорского Рима, блеск Венеции, расточительность Версаля превратятся в ничто». «Деловая и торговая жизнь уже пропитывается красотой» (разумеется здесь убранство отелей, магазинов, контор, салонов и под.).

Конечно, никто не поручится, что вся эта жизнь в красоте не полетит к черту от каких-нибудь желтолицых или смуглолицых неприятелей или даже нескольких хорошо знакомых с техникой взрывчатых веществ «индивидуалистов» в современном вкусе. Таковую возможность предусматривал еще в 1846 г. Достоевский, когда своему человеку «из подполья» влагал в уста такие речи об этом «будущем государстве»: «ведь я нисколько не удивлюсь, если вдруг, ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, не упрет руки в боки и скажет нам всем: а, что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой прахом, чтобы нам по своей глупой воле пожить!». И что же скажут взбунтовавшемуся подполью люди, располагающие всего идеалом эстетической парикмахерской, чем могут заклясть они зверя в человеке, когда сами же его культивировали, не предвидя, что зверь, хотя и прирученный, остается диким по природе.

Итак, добилось ли, начинает ли добиваться человечество счастья и радости, гармонии и покоя? Приближается ли оно к нему? Едва ли кто, наблюдая симптомы духовной жизни европейского человечества, решится это сказать. Напротив, морщины напряженной тревоги, мучительной тоски, замалчиваемого, но тем не менее грозного, ибо непобедимого, страха смерти легли на его челе. «Уныние народов и недоумение», этими евангельскими словами может быть характеризовано настроение века. Или как сказано в Апокалипсисе: «Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания».

Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни, смешанный со страхом смерти, заползает в душу, маловерные легко становятся суеверными, чувство тайны, живущее в душе, разрешается в искании таинственного, потребность в религии ищет выразиться в безпредметной религиозности, утолиться хотя музыкой религиозного чувства, создается мистицизм

без религии, демонизм без веры в Бога. Муки современной души, тоска современного сердца о Боге яснее всего, конечно, отражаются в искусстве, которое не может лгать, не может притворяться. Сейчас много читается незамысловатая, но характерная пьеса Андреева: «Жизнь человека». Вот вам точная философия человеческой жизни, какой располагает современное мировоззрение. Судите же, что естественнее, проникнувшись настроением, господствующим в этой пьесе: созидать хрустальные дворцы для будущего или пустить пулю в лоб? И действительно, самоубийства, по поводу и без повода, просто от тоски и безцельности жизни становятся чаще и чаще, особенно среди нашей нервной оторванной от почвы молодежи; конечно, влияют и внешние события, но они только обостряют кризис.

Уже Достоевский с обычной своей пронизательностью отметил симптоматическое значение этого явления, теперь так усилившегося, и связал его с потерей религиозной веры. Эпоха упадка римской империи, насыщенная неверием и пессимизмом, отличалась эпидемией самоубийств. Киренский философ Гегезий получил даже прозвище оратора смерти, и был выслан из Александрии за успешность своей проповеди самоубийств. «Против бедствий жизни есть благодетельная смерть», — учил Сенека, у которого находим настоящий гимн добровольной смерти. У одних смерть была введена в систему эпикурейского использования жизни, у других была выходом для отчаяния. И тогда эпикуреизм оказался столь же смертоносным, как и теперь. Но на небе уже всходила тогда Вифлеемская звезда, и на нее взирали ученые и неученые, волхвы и пастухи, рождалась в мире великая радость, радость навеки. «Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша да будет совершенна». Теперь сумерки снова надвигаются над человечеством, уходящим в удушливое подземелье и изнемогающим там от ига жизни, но Вифлеемская звезда светит и теперь и льет кроткий луч свой, и с этим лучем каждому раскрывающемуся сердцу приносится тихий зов: «придите ко Мне все

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Пессимизм, раз он появился, не победим иначе, как религиозной верой, ибо он питается сомнением в смысле мира и в возможности мировой гармонии. Зло в мире и дисгармония настолько непобедимы внешними средствами, что пессимизм безысходен, если не откроется в душе целебный родник веры и надежды, который «игро» жизни сделает «благим и легким», хотя оно и не перестанет быть игром. Не безболезненный праздник, о котором так тщетно мечтают земные устроители человечества, сулит религия, напротив, тяжелый подвиг, крест, но она дает и силы его нести, указуя его высший смысл и цель, и скорбь и труд напоая радостью, той чистой радостью, которая утеривается человечеством.

Какое поразительное сопоставление получается, если мы сравним духовное состояние античного общества в I веке и нашей эры с его культурой, но и с его развращенностью и пессимизмом, и духовное состояние первых христианских общин, описанное в Деяниях Апостольских! Каким небесным светом озарено это повествование, нельзя его читать без радостного волнения! Я думаю, что никогда в истории люди не жили радостнее, нежели эти бедные общины, состоявшие из рыбаков, рабов, пастухов и лишь немногих ученых. Они не имели тех культурных благ, с которыми влачило свои дни античное общество, но у них в их душе бил живой ключ радости и веры, — благодатная жизнь детей Божиих!

Мне однако представляется этот современный пессимизм здоровой и даже благородной реакцией на попытку развенчать человека, лишить его веры в высшее добро и заставить его удовлетворяться самим собой. Ибо это самоудовлетворение, самодовольство и равновесие в таком положении, в котором невозможно быть человеку в равновесии, есть уже извращение человеком своего естества, угашение духа, продажа прав первородства за чечевичную похлебку. Это есть то мещанство, от которого так задыхался наш Герцен, ибо жизнь, хотя бы и жизнь в красоте а la Зомбарт, растлевает душу сильнее

всякого яда. Человек не в силах вынести земного благополучия, ему дана только борьба, только крест, и когда он землю проклятия, которая так глубоко пропитана потом и кровью, превращает для себя в удобную постель и покойную подушку, забывая обо всех противоречиях своего бытия, он опускается и пошлеет. Нет, в пессимизме залог того, что человек создан для вечности и для Бога, и, потеряв это, страдает и тоскует тем напряженнее, чем выше он сам. Вот почему «царство зверя», т.е. цивилизация, воздвигнутая без Бога и против Бога, неизбежно должна быть мрачной, и люди начнут кусать языки от боли. И как бы ни ломали головы ученые и философы, какие бы суррогаты ни придумывали, они не дадут человеку того покоя и уверенности, какой дает вера в Того, Кто обещает: «придите ко Мне, и обрящете покой душам вашим».

Что в неверующем человечестве не умерли, а только замерли религиозные струны души, доказывается, в моих глазах, тем значением, которое получает в такие эпохи эстетический интерес, чувство и служение красоте. Красота — божественна, ею Бог облек мир при создании его, и божественное в красоте действует на душу непосредственно или, как удачно выразился Соловьев, магически, помимо рефлектирующего рассудка. В восприятии красоты человек дышит божественным, хотя бы он головой его и отрицал. И в искусстве с его особым миром современной душе открывается единственная возможность, так сказать, — религиозного питания, которого она лишена непосредственно путем молитвенного и религиозного подвига. В силу такого исключительного значения искусства естественно ожидать, что в неверующие эпохи люди дорожат особенно эстетикой, так жадно ищут они красоты, так ревностно отдаются служению ей. Я разумею «не жизнь в красоте», о которой говорит нам Зомбарт: при этом красота растлевается, богиня отдается в горничные богатых людей, нет, я разумею ту подлинную и весьма напряженную жажду прекрасного, благодаря которой наш век безкорыстно ищет красоты, дорожит ею, преклоняется перед ней. Чувство красоты природы

чрезвычайно развито в наш век, едва ли не больше, чем когда-либо ранее: музыка сфер небесных, высоты гор, бездна моря, красота органических форм, цветов, все это интимно сродняется с душой современного человека, ищущей лучей божественной любви в мире:

*И порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты:
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струею холодной,
И говорят, качаяся, цветы.*

Настроение эстетического пантеизма Гете вообще очень сродно современности. Этим чувством природы, скрыто религиозным, спасается современная душа от сухости и мертвенности своего рационализма, как и великими произведениями искусства. «Святым Духом всяка душа живится» поется в церковном песнопении, и красота есть дар св. Духа и якорь спасения для обнищавшего духовно человечества. Когда я думаю об этом животворящем действии красоты, мне вспоминается больная, страдальческая душа Гл. Успенского, который, подобно Гаршину и некоторым другим, несомненно страдал от несоответствия своего интеллигентского мировоззрения религиозным запросам души. Успенский рассказывает, как в деревне, глухой зимой вспомнились его герою (т.е. ему самому) впечатления от Венеры Милосской, виденной им в Париже, и как это воспоминание «выпрямило» душу (очерк так и называется «Выпрямила»). Это трогательные признания интеллигентской души, тоскующей о Боге и не сознающей действительной природы своей тоски.

«С первого момента, как только я увидел статую, я почувствовал, что со мною случилась большая радость. До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я

понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искаленного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего хрустнуть именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом... Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как лившегося в него? Я решительно не мог ответить себе ни на один вопрос, я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Разбить это! — продолжает он, — да ведь это все равно, что лишить мир солнца, тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни ощущать этого».

Искусство покоряет себе даже и в таких чувствах и настроениях, которые совершенно не соответствуют современному мировоззрению. Современный человек может вместе с Белкиным видеть нимфу в сыром гроте и наяд в морских волнах, он может в молитвенном экстазе восторгаться Сикстинской Мадонной и всем искусством возрождения, ему доступна сумрачная мистическая величавость готического храма, он может хвалить Творца вместе с Бетховеном, загораясь от пламенного гимна радости и любви к Творцу в девятой симфонии. Многое из того, чего не позволяет себе современный человек логически и за личной своей ответственностью, он может вместить эстетически, благодаря красоте у него вырастают крылья, он чувствует себя не комком материи или двуногой обезьяной, но бесконечным духом, питающимся абсолютным и божественным.

Однако в этом переводе религиозной жизни на язык исключительно эстетический и выражается ограниченность нашей эпохи, ее однобокость и бедность. Эстетические эмоции еще не создают возрождающей веры, эстетизм энциклопедичен, он уподобляется пчеле, перелетающей с цветка на

цветок, он может совмещать совершенно несовместимое. Для чисто эстетического восприятия — таков именно современный эстетизм — ведь, в сущности, остается только красивая поза, красота положения, но не духовного содержания.

Кроме того, эстетические восприятия пассивны: они не требуют подвига, напряженной воли, они даются даром, а то, что дается даром, способно развращать. В настоящее время часто уже провозглашается эстетика и ее критерии выше этики; благодаря господству эстетизма, получается впечатление, что наша эпоха, как и вообще высококультурные эпохи, исключительно художественна, между тем как это объясняется ее односторонностью, разрушением остальных устоев человеческого духа, и даже в чисто художественном отношении является вопросом, способна ли внутренне подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое в искусстве, или она преимущественно коллекционирует и регистрирует старое. Некоторые держатся именно этого последнего мнения. Во всяком случае при оценке современного эстетизма следует иметь в виду эти обе стороны: гипертрофия его, развитие эстетики за счет мужественных и активных свойств души отмечает упадочный и маловерный характер нашей эпохи, но в то же время в ней пробивает себе дорогу через пески и мусор вечная стихия человеческой души, ее потребность жить, касаясь ризы Божества, если не молитвенной рукой, то хотя чувством красоты и в ней — нетленности и вечности. Много значений имеет вещее слово Достоевского о том, что «красота спасет мир»; оставляя в стороне апокалиптический его смысл, можно сказать, что и теперь красота спасает мир от отчаяния, от рационализма, от самодовольного мещанства, и теперь она поит жаждущего больного и, может быть, поддерживает силы его до выздоровления.

В самом деле, так ли уже решительно и окончательно утвердилось выше описанное направление умов в культурном человечестве, или это только полоса, настроение, которое может миновать, как изжитое? Ведь ярко обозначилось оно

с XVIII века, а особенно резко во 2-й половине XIX, причем в пределах этого направления уже успело смениться несколько волн: можно считать уже пережитым и изжитым так называемое «просветительство» XVIII века с его прямолинейным рационализмом и упрощенным отрицанием. Век Мефистофеля сменился веком Фауста, торжеством немецкого спекулятивного идеализма, начавшегося с Канта, а он, каков бы он ни был, не может считаться эпохой только разрушительной. Затем последовало кратковременное торжество поверхностного материализма и позитивизма с его отрицанием всякой философии. Но материализм и позитивизм в настоящее время пережиты. Вновь возрождается религиозный идеализм, возбуждается философский и религиозный интерес, получающий в настоящее время такую обильную пищу еще и от исторических исследований по истории христианства и других религий. В центре этих научных исследований религиозно-философского и исторического характера стоит изучение всего, относящегося к личности Спасителя. «Можно сказать, — говорит немецкий ученый проф. Вейнель, — что никогда еще ни одно столетие столь интенсивно не занималось Иисусом и не спрашивало об его значении, как истекшее»⁶ и, добавим к этому, интерес этот в начале XX века не ослабевает, а все увеличивается. Достаточно посмотреть указатели литературы, выходящей на Западе, чтобы в этом убедиться. Раздаются голоса, что религиозному омертвлению приходит конец.

Религиозный кризис личности и мировоззрения нигде не переживается с такой трагической мучительностью и роковой силою, как у нас, хотя, может быть, он и слабо еще сознается. Это объясняется, отчасти, общими свойствами русской души и той особенной жгучестью, с которой она относится к вопросам религиозного (в широком смысле) сознания, затем специфическими чертами интеллигентской психологии с ее слабос-

⁶ *Heinrich Weinel*: «Jesus im neunzehnten Jahrhundert. Tübingen und Leipzig». 1904, стр. 3.

тью традиций и исторических связей, ее теоретичностью и доктринализмом. Но особенно обостряющее значение имело здесь то историческое потрясение и кризис, который мы пережили в последние годы и переживаем теперь. Если духовная анемия имела скрытый или хронический характер в обычное время, то она обостряется в эпохи исключительные.

Я не позволю себе ни описывать, ни характеризовать пережитого нами: слишком это близко и свежо всем, и не настало еще время для объективного, безстрастного к этому отношения. В настоящее время русское общество, по крайней мере та его часть, которая способна размышлять и учиться, находится в тяжелом раздумье и силится извлечь исторические уроки из пережитого, в области политической, экономической, культурной, готовая набираться новых сил для творческой работы. В числе этих итогов наименее бросающийся в глаза и наименее сознаваемый относится к тому духовному кризису, о котором я говорил. Выдержала ли огненное испытание духовная личность нового человека, все ли в ней благополучно? Нет никакого сомнения, что политическое и общественное движение последних лет было всецело интеллигентским — не по своим участникам, которыми сделались и массы народные с их многообразными социальными интересами, но по своим идеям, идеалам, вообще по всей своей идеологии. Сила идей и идейных настроений в истории обнаружилась здесь со стихийной мощью. Выяснилось с полной очевидностью, что интеллигенция в России теперь уже есть историческая сила, значение которой в дальнейшем историческом развитии может только увеличиваться, что это растущая сила будущего. И такая оценка и исторической роли интеллигенции и вообще значения идей в истории заставляет считать идеи и настроения интеллигенции имеющими особенную историческую важность, а положение ее сугубо ответственным. Я полагаю, что историческое будущее России, ее процветание или разложение, рост или гниение — в руках и на ответственности интеллигенции, именно как растущей силы будущего.

Исходя из такой оценки, с тем большей осторожностью и с тем большей тревогой спрашиваешь себя: все ли благополучно в душе интеллигенции, не сдвинута ли интеллигентская душа со своих устоев и не больна ли она? Я большее всего не хотел бы, чтобы суждения мои были приняты как осуждение или желание кого бы то ни было обвинить и свалить ответственность за ужасы, в которых мы все, за круговой порукой, виновны. Я пытаюсь, как и все, разобраться в причинах той едкой горечи, которая заползла в душу последние годы, оглядеться в той мгле, которая нас окутала. Многие искренние люди и из интеллигенции, которые не связывают своих суждений доктриной или программой, признаются, что и у них на душе остается осадок горечи и тяжелого недоумения. Граница между добром и злом, дозволенным и недозволенным, партийной дисциплиной и общечеловеческой моралью слишком часто утрачивалась и слишком легко переступалась за это время, чтобы это не могло не оставить впечатления, не заронить в душу сомнения и тревоги. Эксцессы партийности и напряженная атмосфера политической междуусобицы ставили под сомнение самую возможность взаимного понимания и соглашения, необходимого в целях практической созидательной работы ради общего национального дела, грозили сделать невозможной вообще какую бы то ни было созидательную работу. Такие опасения мучительно угнетали меня лично во второй Государственной Думе под влиянием непосредственных впечатлений от думской жизни и думской работы. В какой степени наши исторические неудачи последних лет вызваны неотвратимыми историческими обстоятельствами и темными историческими силами, а в какой степени указанными особенностями нашего интеллигентского настроения, учесть в точности нельзя. Но несомненно, что и доля участия последних значительна. И не столько отдельные программные положения тех или иных партий делали несогласимыми и ожесточенными врагами всех против всех, но именно их моральное обличие, и их общее мировоззрение, разделяемое всеми и

возбуждающее настроение не примирения, а распри и раздора, создавшее атмосферу политических страстей, не растворенную ничем примиряющим. Человека не было, были только члены разных партий или представители разных интересов, которым оставалось лишь размежеваться между собою. Но общество не может развиваться и жить без известного этического минимума солидарности и взаимного понимания, как бы ни было сложно и многообразно оно по своему составу, иначе оно распадается на несколько враждующих тел, а в конце концов атомизируется. И потому то, что Достоевский в «Бесах» и «Преступлении и наказании» описывал лишь как возможность, как предостережение, многим казалось даже, как политический пасквиль, все это у нас вошло в обиход. То, что мы пережили и переживаем горького, морально-отрицательного в нашей интеллигенции, есть в моих глазах экспериментальная поверка слабости распространенного антирелигиозного мировоззрения и доказательство от противного в пользу религиозного. Отсутствие духовного здоровья отражается во всех проявлениях жизни, во всем ее тоне. Вообще в новое время умаляется историческое значение нравственной личности и ее здоровья; я склонен, напротив, считать его одним из определяющих факторов исторической жизни, а в самоопределении личности необходимо входит и то, что она думает о себе, во что верует, все ее вероучение. Нельзя даже представить себе, как изменилась бы вся жизнь, насколько иначе сложились бы и протекли минувшие события, как осветилось бы и темное настоящее, если бы мы сами стали другие. В этом смысле философско-религиозное credo русской интеллигенции, объединяющее большинство ее молодых и старых представителей без различия политических оттенков, именно ее атеистический нигилизм, я признаю одним из важнейших факторов русской истории и одной из основных причин, определивших течение событий последних лет в России.

Это положение, может быть, покажется менее парадоксальным для не разделяющих нашей общей точки зрения, если

мы остановим внимание еще на одной особенности нашего времени. До девятисотых годов мировоззрение и настроение интеллигенции оставались замкнутыми или кружковыми, и можно было думать, что народная душа недоступна и непроницаема для интеллигентской проповеди. Последнее десятилетие, особенно же последнее трехлетие, показало иное, именно, что народ, особенно молодое поколение деревни, и городские рабочие, оказываются восприимчивыми к интеллигентскому воздействию и постепенно обинтеллигиваются, или, как это называется, становятся «сознательными». Я оставляю совершенно в стороне те или иные политические или экономические положения различных программ, излагавшихся народу, ибо не они нас интересуют и не они имеют в моих глазах первостепенное значение, и вовсе не они действительно революционизируют сознание и совершают в народной душе глубокий переворот. Нет, всякое такое приобщение народа к «сознательности», или его обинтеллигивание, начинается безразлично во всех интеллигентских партиях и по всем их программам разрушением религиозной веры и прививкой догматов материализма и философского нигилизма. Конечно, необразованный простолюдин совершенно безсилен отнестись критически и безоружен, как ребенок, перед наплывом новых учений. И с той же легкостью, с какой уверовали в неверие некогда его просветители, принимает и он безрадостную, мертвящую веру в неверие. Разумеется, не нужно преувеличивать сознательности и прочности его старой веры, разлагающейся иногда от первого прикосновения. Конечно, это — детская, наивная вера, но ведь все-таки она давала ему различие между добром и злом, учила жить по правде, по долгу, по-божески. Она воспитывала ту дивную красоту народной души, которая запечатлена и в русской литературе, и в искусстве. Благодаря ей, народ вынес и выносит на плечах своих крест своего исторического существования, и татарщины, и московской государственности, и петербургского периода, и свой идеал, свое представление о праведной жизни выразил, дав себе

наименование «святая Русь», т.е. конечно, не почитая себя святым, но в святости видя идеал жизни. Неужели заблуждался сердцеведец и народолобец Достоевский, который изучал народную душу не только в здравье, но и в болезни, не только в родной деревне, но и на каторге, когда писал:

«Пусть все-таки, пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности), никогда не принимает, не примет и не захочет принять греха своего за правду! Он согрешит, но всегда скажет рано ли, поздно ли: я сделал неправду. Если согрешивший не скажет, то другой за него скажет, и правда будет восполнена. Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело переходящее, а Христос – вечное. Народ грешит и пакостится ежеминутно, но в лучшие минуты, в Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То именно и важно, во что народ верит, как в свою правду, в чем ее полагает, как представляет себе, что ставит своим желанием, что возлюбил, чего просит у Бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа Христос. А с Христом, конечно, и просвещение, и в высшие, роковые минуты свои народ наш решает и решал всякое дело всегда по-христиански».

Эта старая вера и связанный с ней духовный строй рушатся, дичку народной души делается совершенно новая прививка. Такой силы, столь исключительной важности прививки, которую теперь делает народу наша интеллигенция, не делала и не могла сделать ему ни Москва, ни татарщина, ни Петербург; только Владимир Святой совершил равного значения дело, крестив Русь, которую интеллигенция теперь постепенно раскрещивает. С крещения Руси началась история России, христианское семя пало здесь на совершенно девственную почву, на невозделанную целину; с раскрещиванием начинается совсем новая эпоха истории. Чем же заменяется старая вера, какими правилами жизни, какими нормами? Мы знаем,

что по этому поводу значится в интеллигентском катехизисе: Бентам, Маркс, Конт и Фейербах (в русской переработке Лаврова или Михайловского), Штирнер: преследование своих интересов отдельно или преследование тех же интересов сообща с другими, как классовых или групповых, или же свобода самоутверждающейся личности, анархическое «все позволено». Но для интеллигенции все эти понятия интереса суть чистая идеология, псевдоним этических и даже религиозных настроений; она берется не за свой, а за чужой интерес, интерес угнетаемых классов. Кроме того, самые разрушительные выводы самых разрушительных доктрин далеко не всегда и не вполне переходят здесь в действие, но парализуются задерживающими центрами, влиянием среды и общественного мнения, культурными навыками, вообще привычкой обращаться с теориями и принимать разные страшные слова и формулы бездейственно и безбоязненно. Правда, последние годы и интеллигенция потеряла равновесие, но нет никакого сравнения с тем впечатлением, которое должен производить кодекс атеистической догматики на народную душу. Людям, изболевшим и исстрадавшимся, и без того в силу своего классового положения склонным к враждебности по отношению к привилегированному меньшинству, людям, не имеющим ни умственной подготовки, ни цивилизованных навыков, вообще стоящим в самых неблагоприятных культурных условиях, сообщают в качестве догматов для жизненного руководства — положения, которые явились во всяком случае продуктом длинного философского и культурного развития, выросли на культурно-богатой и насыщенной почве. Вообще русская история богата крайностями, но едва ли можно себе представить крайность большую, чем это сообщение неграмотному, бедному крестьянину, не выходявшему из своей деревни или за пределы своей фабрики, результатов работы мысли Юма и Вольтера, энциклопедистов и просветителей, Фейербаха и Ницше и т.д. и т.д. В этом есть нечто, поистине головокружительное. Я не возьмусь учитывать, насколько плодотворна даже в поли-

тическом и социальном отношении оказалась эта замена просвещения агитацией, но морально-психологическое и общечеловеческое значение этого учесть можно и теперь. Результат этот, — разложение личности, глубокий паралич воли и нравственного чувства, мы имеем теперь в скорбной и нескончаемой эпохее quasi идейных преступлений, от которых с ужасом открещиваются все интеллигентские группы и все направления. И, конечно, они правы, поскольку, действительно, никто не хотел всего этого, и это явилось непредусмотренным результатом тех потрясений в народной душе, тех опустошений в сокровищнице его веры, которые внесла доктрина атеизма в связи с тяжелыми событиями и испытаниями нашего времени. Я совершенно убежден в том, что чрезвычайное развитие преступности, и притом в патологической обстановке своеобразной идейности, есть симптом болезни народной души, острая реакция духовного организма на ту нездоровую пищу, которая была введена в него в виде новых учений, объединявшихся отрицанием религиозных ценностей и абсолютной морали. И иных всходов на русской ниве, при всей исторической совокупности обстоятельств, сев этот и не мог дать. Я никоим образом, конечно, не забываю ни тех ужасов, среди которых приходилось жить последние годы, ни той политической обстановки и экономической нужды, которые и сами по себе выбивали из духовного равновесия и обостряли, как, и в свою очередь, были обострены указываемым мною духовным кризисом. Он имел еще и другое, хотя и побочное, но очень важное последствие: создал и обострил междоусобицу, придав ей оттенок религиозного фанатизма, сделав ее борьбой не только разных политических мнений, но и разных вер. Этим обстоятельством объясняются многие черты прискорбных и трагических событий осени 1905 года, каковы бы ни были причины их во всей сложности. Эта религиозная междоусобица и в настоящее время чрезвычайно туманит русские горизонты и затрудняет наше положение. Народ наш нуждается в знаниях, нуждается в просвещении, однако таком, ко-

торое не делало бы его беднее духовно, чем он был, и не разлагало бы его нравственную личность. Христианское просвещение, развивающее и воспитывающее личность, а не случайное усвоение обрывков знания, как средства агитации, вот в чем нуждается народ наш. Историческое будущее России, возрождение и восстановление мощи нашей родины или окончательное разложение, быть может, политическая смерть, найдутся, по моему убеждению, в зависимости от того, разрешим ли мы эту культурно-педагогическую задачу: просветить народ, не разлагая его нравственной личности. И судьбы эти история вверяет в руки интеллигенции. Опыт последних лет показал, что она находит доступ к душе народной, и в то же время она всегда имела страстное, неудержимое, жертвенное стремление к служению народу в той форме, как она его понимает. В этом-то понимании и все дело, и вот почему мировоззрение самой интеллигенции приобретает такую исключительную важность, как состояние нервов и мозга всей страны. В сердце и голове русской интеллигенции происходит борьба добра и зла, животворящего и смертоносного, зиждительного и разрушительного начала в России, а поскольку происходящее у нас имеет несомненно и мировое значение, то и борьба эта мировая. Но это понимание своей исторической миссии и своего значения должно удесятерять чувство ответственности за свои действия. Ведь нигде больше нет такого положения: великий народ, беспомощный, беззащитный духовно, как ребенок, находящийся на уровне просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интеллигенция, которая несет просвещение Запада, преимущественно с разными последними словами, сменяющимися с быстротою моды, и которая, как ее ни удерживают и ни отстраняют, находит и, конечно, будет находить дорогу к этому ребенку. Два электричества: когда они соединятся, что дадут они, — благодетельный свет и тепло или разрушительную и испепеляющую молнию?

Если мировоззрение самой интеллигенции, которое она несет народу, останется тем же, что и теперь, то и влияние ее

на народ сохранит тот же характер; только не изменяясь качественно, оно будет расти количественно. Но нельзя, конечно, и думать, чтобы интеллигенции, по крайней мере, в обозримом будущем, удалось обратить в свою веру всю народную массу, часть ее во всяком случае останется верна религии. И на почве этого разноречия неизбежно должна возникнуть такая внутренняя религиозная война, подобие которой следует искать только в войнах реформационных. При этом духовная и государственная сила народа будет таять, и жизнеспособность государственного организма уменьшаться до первого удара извне. От этого пути достаточно предостерегают нас пережитые события. Но неужели напрасно возгремели над нами небесные громы? Неужели мы, немного поотдохнув да поправившись от пережитого, заживем опять по-старому, старыми чувствами, старыми мыслями, старым легкомыслием, так как будто ничего не случилось, ничего не раскрылось, ничего не нажито? Просто, сорвалось да и все тут, могло бы и не сорваться, если бы оказалось немного больше сил; надо стараться, чтобы другой раз уже не сорвалось. Русский интеллигент склонен к такой безпечной лени души, и сейчас уже начинает складываться такое успокоительное, доосвободительное настроение и в печати и в кружках, как будто мы не увидели голову Горгоны, как будто мы просто просчитались, и остается только отступить несколько шагов назад, вернуться на старые позиции. Нет, вернуться на старые духовные позиции нельзя, мы отделены пропастью, полной мертвецов, мы выросли и исторически постарели, бесполезно и недостойно нам молодиться. Надо начать что-то новое, учесть исторический опыт, познать в нем самих себя и свои ошибки, ибо иначе, если мы будем видеть их только у других, на противной стороне, то мы останемся загнипнотизированы своей враждой к ней и ничему не научимся. Потребно самоуглубление, самоисследование, потребно накопление духовных сил, творчество культуры.

Разных сторон должно коснуться это самообновление, но если спуститься на самое дно, в глубину души, то это созда-

ние новой личности и новой жизни должно начаться *религиозным* самоуглублением, новым и более сознательным религиозным самоопределением. Новый человек, новый тип общественного деятеля может родиться лишь на почве этого самоуглубления, это будет то новое русской жизни, о чем умирая, мечтал Достоевский в последнем своем романе, то новое, чего не было в русской жизни последних лет и что, может быть, и загубило последнее общественное движение и обрекло его на бессилие. Россия, в противоположность Англии, за единичными исключениями, не видала еще *христианской интеллигенции*, которая пыл своей души, жажду своего служения людям и крестного подвига вложила бы в христианский подвиг деятельной любви и победила бы ту тяжелую атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся, и в которой ничто, кроме разрушения не может спориться. В нашей интеллигенции так много потенциальной религиозной энергии, она так неотступно приносит жертвы на своем алтаре «неведомому богу», — неужели же навсегда это неведение? Я знаю, как далека от действительности, как смешна может казаться эта мечта о христианской интеллигенции и прекращении того разрыва между интеллигенцией и народом, который поддерживается теперь религиозным разномыслием. Но слишком прекрасна эта мечта, чтобы можно было с нею расстаться, и слишком нужно для жизни ее осуществление, нужен новый сев, новая влага, изливающаяся на иссохшую и растрескавшуюся землю. В этой духовной опустошенности нашей эпохи, в этой ее безысходности заключается наша величайшая надежда, духовная смерть может оказаться кануном духовного воскресения, как это было и XIX веков назад, как это неоднократно бывало потом в истории, когда христианский пламень с новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра.

С развитием исторических событий все яснее раскрывается религиозный смысл русской драмы, которая, выражаясь в политическом и социальном кризисе, коренится в духовном

распаде и внутреннем раздоре русского народа. И несмотря на столько жертв и испытаний, она не разрешилась. Болезнь вогнана внутрь, из острой лишь перешла в хроническую. Мы опытно познали, что нельзя безнаказанно нарушать заповеди: «ищите прежде всего царствия Божия и правды Его, и вся прочая приложатся вам». Мы заботились исключительно об этом прочем, оставляя в небрежении духовный мир человека, эту подлинную творческую силу истории. И мы потеряли духовное равновесие и разбрелись в разные стороны в погоне за этим «прочим», которое все более дробилось и разъединяло людей. И в этом лежит подлинная причина нашего исторического безсилия, слабости творчества при такой энергии разрушения. Только обновленному человеку посильна задача устройства расстроившейся жизни, но обновление это создается не пересмотром программ или тактики, или новой политической комбинацией (как бы ни были важны сами по себе и эти последние). Рождение нового человека, о котором говорится в беседе с Никодимом, может произойти только в недрах человеческой души, в тайниках самоопределяющейся личности. Подвиг исторического творчества не может быть отделен от духовного подвига возрождения человеческой личности, которое не совершается помимо нашей воли. Прав был Гладстон: не в парламентах или народных собраниях происходит теперь самое решительное столкновение добра и зла, но в душах людей, и исторические судьбы России решаются ныне в той незримой внутренней борьбе, которая происходит в русской душе. К ней, к этой борьбе, и к нам, в которых она совершается, вполне применимо грозное слово Моисея, предсмертное завещание пророчесственного вождя Израиля к своему народу, предопределившее его земные судьбы: «призываю во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил я тебе, проклятие и благословение. Избери же жизнь, да живешь ты и семья твое!»

По вопросам оптовой покупки данной брошюры
обращаться по адресу:
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 2
Церковь Богоявления (на Гутуевском острове).
Телефон: (812) 251-70-04

С. Н. Булгаков

Интеллигенция и религия

ISBN 5-7353-0022-9

Лицензия ЛР № 065338 от 07.08.97

Подписано к печати 17.02.2000. Формат 60 x 90/16.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л. 3. Усл. печ. л. 2,79. Усл. кр.-отт. 2,79.

Тираж 5000 экз. Заказ № 60

АОЗТ "ЭРВИ"

191128, Санкт-Петербург, Заенигородская ул., 9

Санкт-Петербургское ГУП "Пушкинская типография"
189620, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Средняя, 3/8

С.Н.БУЛГАКОВ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕЛИГИЯ

Протоиерей Сергей Николаевич Булгаков (1871 — 1944) был сыном настоятеля кладбищенской церкви в старинном городке Ливны Орловской губернии и имел в своем роду многие поколения священников. Это, однако, не помешало ему в молодые годы покинуть церковную ограду и довольно долгое время исповедовать марксизм и сопутствующий ему атеистический материализм. Неоднозначно оценивается в православном мире и позднеешее его богословское творчество, в частности, учение о Софии Премудрости Божией (т.н. “софиология”). При всем этом, данная работа, написанная вскоре после его духовного перехода “от марксизма к идеализму”, видится издателям свободной и от ранних и от поздних ошибок и спорных суждений автора и весьма полезной для современного русского читателя, интересующегося историческим прошлым своей Родины и не желающего повторять ошибки этого прошлого.

На обложке: картина М.В. Пестерова “Философы” (1917). Изображены священник Павел Флоренский и С.Н. Булгаков. Через год — в 1918 году, светский костюм сменит на подрябник и второй персонаж картины.